

АНТОН ЭЛИАШ

Университет им. Я. А. Коменского, Философский факультет
(Братислава)

МОЛОДОСТЬ И СТАРОСТЬ В КОНЦЕПЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ ПОЭЗИИ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА¹

Youth and Old Age in the Concept of Time in the Poetry of A. S. Pushkin

The article is devoted to the analysis of the themes (motifs) of youth and old age in the poetry of A. S. Pushkin. The first part of it focusses on the images of youth in Pushkin's early (lycean) works of art as well as in his poems of the romantic period and the last decade of his poetic carrier. The second part pays attention to four variants of Pushkin's poetic depiction of the old age. In the last part the author of the article summarizes the facts obtained by the analysis of both themes (motifs) and in a brief survey presents the most important conclusions characterizing specific features of Pushkin's artistic concept of time.

Keywords: youth, old age, concept of time, Pushkin's artistic model of the world

Художественное время в разных вариантах его образного воплощения играет важную роль в пушкинской художественной модели мира. В его поэзии – лирической и лиро-эпической – оно присутствует во всех трех основных формах – как время персональное, социальное (историческое) и как время природное. Молодость и старость, однако, чаще всего упоминаются в связи с жизнью и возрастом человека, поэтому в статье мы будем уделять внимание главным образом восприятию и художественному воплощению персонального времени в поэзии А. С. Пушкина.

Молодость и старость являются неотъемлемыми элементами пушкинского художественного концепта времени. Правда, в образной системе его поэзии с ними встречаемся с разной фреквенцией и в разной форме выражения. В стихотворениях и поэмах Пушкина

¹ Статья является одним из результатов исследований, реализуемых на Философском факультете Университета им. Коменского в Братиславе в рамках научного гранта VEGA 1/0618/15 Slovenská prekladová a literárnovedná recepcia tvorby A. S. Puškina.

они редко эксплицитно тематизированы, чаще их можно обнаружить на мотивическом уровне, причем в обоих случаях они представлены в трех формах – в ранней и романтической лирике они развивают тогдашние литературные традиции и конвенции, позже, в период зрелого творчества, они приносят читателю оригинальные, автентичные авторские переживания разных этапов быстротечной человеческой жизни; в лиро-эпической поэзии мотивы молодости и старости в некоторых случаях используются Пушкиным также как одно из средств типизации персонажей.

С вариантом художественного воплощения молодости, развивающим традиции сентиментализма и преромантизма, встречаемся у Пушкина чаще всего в лицейской лирике. Круг ее тем и мотивов, как отмечает Д. Благой,

замкнут рамками так называемой 'легкой поэзии', 'анакреонтики' (...). Начиная с 1816 года преобладающими в лицейской поэзии Пушкина становятся элегические мотивы в духе Жуковского. Поэт пишет о муках неразделенной любви, о преждевременно увядшей душе, горюет об угасшей молодости. (...) Но сквозь подражательное, литературно-условное уже пробивается самостоятельное, свое: отголоски реальных жизненных впечатлений и подлинных внутренних переживаний автора (Благой 1974, 615-616).

Одним из свидетельств этого своего, пушкинского, является амбивалентность трактовки молодости: в стихи, воспевающие молодость, неоднократно вкрапливаются нотки осознания недолговечности молодости, краткости человеческой жизни, движения „к гробу“, которые лирический субъект стремится преодолеть юношеским задором:

Смертный, век твой привиденье:

Счастье резвое лови.

(Гроб Анакреона 1815)

До капли наслажденье пей,

Живи беспечен, равнодушен!

Мгновенью жизни будь послушен,

Будь молод в юности твоей!

(Стансы Толстому 1819)

Давайте пить и веселиться,

Давайте жизнию играть, (...)

Пусть наша ветреная младость
Потонет в неге и вине, (...)
Когда же юность легким дымом
Умчит веселья юных дней,
Тогда у старости отыдем
Все, что отыметса у ней.
(*Добрый совет* 1820)

Счастливым резвым, молодым
Оставим страсти заблужденья;
Живем мы в мире два мгновенья -
Одно рассудку отдадим.
(*Стансы. Из Вольтера* 1817)

Оказывается, что уже в этот ранний период творчества молодость для Пушкина не только очаровательна, привлекательна, полна игр, забав и наслаждений, но и ветрена, вянуща, безумна, шальна, сопровождаемая стастями заблуждения.

Амбивалентность образа молодости в пушкинской поэзии еще углубляется в период южной ссылки и его зрелого творчества. В годы южной ссылки, которые считаются вершиной пушкинского увлечения романтизмом, его лирический субъект не только в романтическом духе признается, что ему не жаль годов его весны, что он не хочет вернуться к берегам „туманной родины“, где „рано в бурях отцвела“ его „потерянная младость“, что он бежит от „минутной младости минутных друзей“ *Погасло дневное светило* (1820), что „померкла молодость“ его „с ее неверными дарами“ *Один, один остался я* (1822), но и откровенно провозглашает, что он стремится „вознаградить (...) мятежной младостью утраченные годы / И в просвещении стать с веком наравне“ *Чаадаеву* (1821).

В период южной ссылки Пушкин пишет и стихотворение *Телега жизни* (1823), которое представляет собой развернутую метафору; автор передает свои мысли в метких образах: жизнь – путь, молодость – утро, зрелость – день, старость – вечер, смерть – ночь. Уподобление человеческой жизни одному дню имеет глубокий символический смысл: с одной стороны, жизнь быстротечна, она пролетает, как один день; с другой стороны, жизнь человека как части природы в своих основных этапах *de facto* совпадает с природным ритмом, в ней как бы отражаются глубинные онтологические закономерности физического, „природного“ бытия человека.

В этом обобщающем поэтическом изображении человеческой жизни уже намечаются первые черты перехода Пушкина на позиции близкие реализму; от него путь ведет к таким стихотворениям, как *Если жизнь тебя обманет* (1825), *19 октября* (1825), *Брожу ли я вдоль улиц шумных* (1829), *Элегия* (1830), *...Вновь я посетил* (1835), *Была пора: наш праздник молодой* (1836) и др., в которых поэт метко, почти в афористической форме, с глубоким пониманием закономерностей человеческой жизни суммирует свои взгляды на все возрасты, на их взаимоотношения, на отношения человека к природе и природы к человеку. Как *pars pro toto* приведем несколько примеров из этих стихотворений:

Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

(Если жизнь тебя обманет 1825)

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
Опомнимся - но поздно! и уныло
Глядим назад, следов не видя там.

(19 октября 1825),

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю; прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

(Брожу ли я вдоль улиц шумных 1829)

Пушкин спокойно и мудро воспринимает жизнь, ее вечное течение и изменения, которые в ней происходят. В его зрелом творчестве прошедшее, настоящее и будущее тесно взаимосвязаны; во всех вышеупомянутых стихотворениях переосмысливается тема молодости, между строк возникает мотив ответственности за все, что совершает человек. Однако поэт не относится отрицательно даже к его ошибкам, не подвергает сомнению их значение, осознавая, что они также являются естественным элементом нашего человеческого жизненного опыта.

Переходя к второму полюсу возрастной оппозиции молодость – старость, т.е. к пушкинскому художественному воплощению старости, считаем необходимым подчеркнуть, что этот период человеческой жизни в его лирике трактуется без особой отрицательной окраски; он воспринимается поэтом как естественное завершение земного человеческого бытия, как возраст, в котором человек подводит итоги своей жизни и – в духе вечного закона природы – осознает необходимость смены поколений.

Говорить о теме или мотиве старости в пушкинской поэзии может на первый взгляд казаться необоснованным - ведь поэт умер после трагической дуэли с Дантесом в возрасте 37 лет и по собственному опыту не мог поэтому знать настоящей старости. Однако, нельзя упускать из виду факт, что в первой трети XIX века средняя продолжительность человеческой жизни была значительно короче чем в начале XXI века; поэтому то, что тогда понималось под старостью существенно отличается от того временного горизонта, с которым принято связывать старость сегодня. В этом контексте считаем не лишним напомнить, что Ю. Лотман в своей комментарии к десятой главе „Евгения Онегина“, которую по его мнению Пушкин писал в 1830 году и в которой кроме прочего он бегло характеризует также своего друга декабриста М. С. Лунина (1787-1845), отмечает, что Лунин, которому в 1830 году уже минуло 43 года, был „по тогдашним представлениям почти старик“ (Лотман 1986, 149). В конце концов и сам Пушкин в шутовском тоне в стихотворении „Кокетке“ уже в 1821 году касается этого вопроса – после деликатного, хотя может быть и не вполне лестного и вежливого сравнения своего возраста с возрастом кокетки:

Послушайте: вам тридцать лет,
Да, тридцать лет - не многим боле.
Мне за двадцать; я видел свет,
Кружился долго в нем на воле;

он без всяких обиняков ей предлагает:

Когда мы клонимся к закату,
Оставим юный пыл страстей -
Вы старшей дочери своей,
Я своему меньшому брату:
Им можно с жизнью шалить
И слезы впредь себе готовить;

Еще пристало им любить,
А нам уже пора злословить.

Мотив старости и старения поэтому можно считать вполне естественной, органической составной частью образной системы пушкинского поэтического мира – как с точки зрения литературных традиций, так и с аспекта его собственного опыта.

Старость и старение в пушкинской лирике трактуется в четырех основных вариантах: во-первых, старость как характеристический признак жанра его ранних элегий, во-вторых, старость (старение) как юношески шутливо окрашенное *temento mori*, в-третьих, старость как – пушкинскими словами сказано – романтическая преждевременная старость души и, в-четвертых, старость как закономерный этап жизни человека, завершающий его земной путь.

Первый из этих вариантов трактуется поэтом главным образом как осознание бренности земной жизни, как повод для медитативных рассуждений о месте человека на земле, о значении и ценности его земного бытия:

Други, здесь почует в мире
Сладострастия мудрец.
Посмотрите: на порфире
Оживил его резец!
Здесь он в зеркало глядится,
Говоря: «Я сед и стар,
Жизнью дайте ж насладиться;
Жизнь, увы, не вечный дар!»
(Гроб Анакреона 1815)

Печально младость улетит,
И с ней увянут жизни розы.
Но я, любовью позабыт,
Любви не позабуду слезы!
(Элегия 1816)

Второй вариант в преобладающем большинстве случаев является составной частью содержания пушкинских дружеских посланиях:

Все чередой идет определенной,
Всему пора, всему свой миг;
Смешон и ветреный старик,

Смешон и юноша степенный.
Пока живется нам, живи.
(К Каверину 1817)

Зевес, балуя смертных чад,
Всем возрастам дает игрушки:
Над сединами не гремят
Безумства резвые гремушки.
(Стансы Толстому 1819)

Уж я не тот любовник страстный,
Кому дивился прежде свет:
Моя весна и лето красно
Навек прошли, пропал и след.
Амур, бог возраста младого!
Я твой служитель верный был;
Ах, если б мог родиться снова,
Уж так ли б я тебе служил!
(Старик 1814-1815)

Третий, вариант романтической „преждевременной старости души“ является типичной чертой пушкинской поэзии южной ссылки. Он появляется уже в стихотворении *Погасло дневное светило* (1820), открывающем этот период творчества Пушкина. Лирический субъект бежит из мира, где ему „изменила радость и сердце хладное страданью предала“, прощаясь с родиной без жалости – ведь это страна

Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.

Такой вариант „старости“ Пушкин разрабатывает также в своих южных поэмах. Однако, вместе с тем он признается, что этот тип восприятия мира чужд его натуре, что с ним он не может отождествиться. В связи с авторской оценкой *Кавказского пленника* в письме В. П. Горчакову от 1822 года он пишет:

Характер 'Пленника' неудачен; доказывает это, что я не гоюсь в герои романтического стихотворения. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX века (Пушкин 1938, 6, 43-44).

Почти идентичный вариант отношения героя к действительности можно обнаружить также в поэме *Цыганы* (1824), где Алеко из юноши в глазах Земфиры после двух лет совместной жизни превращается в „старого, грозного мужа“ вследствие той же „преждевременной старости души“, которая воспринималась Пушкиным как отрицательная черта современной молодежи и которая в художественных целях была им использована как элемент типологической характеристики романтических героев. С первого взгляда этот факт может казаться парадоксальным – ведь обе поэмы были написаны в „романтических“ годах южной ссылки. Но в этом контексте нельзя на наш взгляд упускать из виду, что пушкинский романтизм имеет специфический характер. Как убедительно показал Ю. Лотман, „...Пушкин обладал активным, одухотворяющим жизнь гением: он не подчинялся окружающему, а преобразовывал его“ (Лотман 1983, 111). Благодаря этому активному, преобразовывающему началу

...поэзия изгнанничества, трагического эгоизма, стремления проклясть все окружающее и затвориться в гордых и гигантских образах, обитающих внутри души, не получала опоры в собственном опыте и личных эмоциях поэта. Это привело к тому, что романтическое сознание и романтический индивидуализм отразились в мироощущении Пушкина в значительно смягченной форме (Лотман 1983, 63).

К аналогичному заключению о специфическом характере пушкинского романтизма приходит также американский литературовед Виктор Террас:

Пушкин принял романтизм прежде всего как направление, освобождающее художника от сковывающих норм классицистического поэтического канона. Основную разницу между классицизмом и романтизмом он видел в том, что романтизм открывал путь к индивидуализированному, персонализированному творчеству (Terras 1980, 52-53).

Четвертый вариант – тематизация закономерного тока жизни, движущегося от юности через зрелый возраст к старости и смерти – присущ прежде всего стихотворениям зрелого периода творчества Пушкина. В качестве примера можно привести следующие стихи:

Во ржи был василек прекрасный,
Он взрос весною, летом цвел

И наконец увял в дни осени ненастной.
Вот смертного удел!

(Общая судьба 1826)

День каждый, каждую минуту
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

(Брожу ли я вдоль улиц шумных 1829)

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино - печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.

(Элегия 1830)

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомнит.

(...Вновь я посетил 1835)

Если попытаться сжато суммировать все вышесказанное, то можно, по нашему мнению, констатировать, что анализ поэзии Пушкина подтверждает, что интериоризация внешнего мира пушкинским лирическим „я“ не детерминирована типичной для того времени (20-30-е годы XIX века) романтической гипертрофией субъекта. Пушкинский лирический герой не теряет чувства принадлежности к миру, не стремится вдавливать мир в прокрустово ложе *a priori* отрицательного отношения к окружающей его действительности, а как раз наоборот: он чутко отзывается на его многоликость, которая находит непосредственное выражение в многогранности эмоциональных и оценочных реакций поэта. Поэтому он способен видеть и воспринимать не только конкретную реальность, но и самого себя с разных ракурсов, с разных „позиций“, причем такой подход

к художественному воплощению действительности можно в пушкинской лирике наблюдать не только в период зрелого творчества поэта, но и в поэзии периода южной ссылки, т.е. в тот период, который считается вершиной пушкинского романтизма.

В качестве примера приведем хотя бы два послания, сочиненные Пушкиным в 1820 и 1821 годах. Если в первом из них субъект представлен с самоиронической окраской как „повеса вечно-праздничный“, „взросший в дикой простоте“, как тот, кто „любви не ведая страданий“ нравятся „юной красоте“ „бесстыдным бешенством желаний“ *Юрьеву* (1820), в послании к *Чаадаеву* (1821) доминирует совершенно другой тон – трезвая интроспекция, сознание ответственности за качество своего образования и способа жизни:

В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
Владею умом моим, с порядком дружен ум,
Учусь удерживать внимание долгих дум,
Ищу вознаградить в объятьях свободы
Мятежной младости утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.

В отношении к окружающему миру пушкинский лирический субъект также сохраняет полифоничность своих эмоционально-оценочных реакций. С одинаковой убедительностью он способен мечтать о свободе, погружаться в романтическое разочарование *Узник* (1822), *Погасло дневное светило* (1820) и др., но и преодолевать эти настроения силой интенсивно переживаемого чувства, как, например, в стихотворении *Мой друг, забыты мной следы минувших лет* (1821):

Мой друг, забыты мной следы минувших лет
И младости моей мятежное теченье.
Не спрашивай меня о том, чего уж нет,
Что было мне дано в печаль и наслажденье,
...Не требуй от меня опасных откровений:
Сегодня я люблю, сегодня счастлив я,

или осознанием трансцендентности жизни, которое не позволяет ему (т.е. пушкинскому субъекту) замкнуться в узкие рамки авторефлексии. Об отсутствии романтической гипертрофии субъекта и его внутренней изоляции от окружающего мира свидетельствует и тот факт, что в пушкинской поэзии (главным образом в любовной

лирике и многих посланиях) отчетливо чувствуется присутствие второго субъекта, который в интеракции с лирическим „я“ выступает в роли равноценного партнера.

Благодаря своему „открытому“ отношению к жизни, своей экстровертности, пушкинский лирический субъект не впадает ни в травму романтической темпорально-пространственной бесприютности; как раз наоборот: способность окунуться в окружающий мир позволяет ему не только находить свой *modus vivendi* в любой новой среде, но и осваивать ее, извлекать из нее максимум пользы для себя. Новая среда наполняет его новыми впечатлениями, вносит в его интеракцию с миром новые измерения. Аксиологическая семантизация как временных, так и пространственных отношений в художественной модели мира пушкинской лирики, таким образом, не основана на типически романтической антиномии; дело в том, что пушкинский лирический субъект никогда не теряет сознания онтологической и ноэтической сопричастности к реальному миру. Поэтому любое „передвижение“ во времени или „перемещение“ в пространстве он воспринимает лишь как очередную возможность, предоставленную ему жизнью для проверки и подтверждения этой сопричастности, для расширения и обогащения своего жизненного опыта.

Экстровертная ориентация пушкинского лирического субъекта накладывает отпечаток и на его восприятие времени. Персональное время не ограничивается рамками биографического существования, оно ощущается и переживается субъектом не только как полноценное в каждом своем отрезке (молодость – зрелый возраст – старость, прошлое – настоящее – будущее), но и как трансцендентно открытое в историческое будущее. Пушкинское понимание отношения субъекта к миру излучает энергию жизнерадостного эпикуреизма и глубокого оптимизма, оно полно восхищения земной жизнью, пребыванием человека в бытии „вечного“ мира. Осознание принадлежности к этому „вечному“ миру позволяет лирическому субъекту сохранить связь между идеалом и действительностью: идеал для него не оторван от действительности, а живет, содержится в ней как возможность. Благодаря такому переживанию своего пребывания в мире лирический субъект способен учитывать – как в персональном, так и в социальном (историческом) времени – не только континуальность, но и каузальность темпорального тока. Притом с аксиологической точки зрения он не отдает полного предпочтения ни одной из составных частей этого темпорального континуума, т.е. ни прошлому,

ни настоящему, ни будущему; все они, по его мнению (ведь и сегодняшнее будущее превратится со временем в прошлое), так или иначе участвуют в непрерывном диалектическом процессе обеднения и обогащения жизни индивида и всего человечества.

Идентичное понимание исторической континуальности и каузальности, правда, в более тесном „переплетении“ с личной жизнью поэта и его друзей – выпускников лицея, можно обнаружить и в одном из последних стихотворений Пушкина, сочиненном по случаю 25-ой годовщины основания царскосельского лицея *Была пора: наш праздник молодой...* (1836). Как отмечает Л. Аринштейн, в этом стихотворении

...подводится исторический итог жизни первого лицейского поколения, некогда счастливого и полного радужных надежд. Поражает эпическое спокойствие стихотворения – его торжественная интонация, замедленный ритм, смысловое содержание. (...) После первых стихов о безмятежной юности следует предсказуемая антитеза – те же лицеисты двадцать пять лет спустя:

Теперь не то: разгульный праздник наш
С приходом лет, как мы, перебесился,
Он присмирел, утих, остепенился (...)

Что ж, это 'общий закон' старения. С ним Пушкин уже давно смирился и охотно делится своим знанием с друзьями: «Не сетуйте: таков судьбы закон...». После чего от личных судеб он переходит (...) к размышлениям, относящимся к историческим судьбам России. Пропущенные через призму времени исторические события лицейской юности приобретают особую значимость – оттенок особо высокой торжественности“ (Аринштейн 2007, 171-172).

Анализ темпоральных детерминантов пушкинской художественной модели мира приводит к заключению, что в контексте русской поэзии 20-30-х годов XIX века поэт создает особый типологический вариант лирического субъекта; вариант, который не только синтезирует свободолобивый пафос декабристского типа (правда, в более умеренной, депатетизированной форме) с линией передачи эмоциональной глубины и богатства внутреннего мира индивида, культивированной Жуковским, но и внедряет в русскую литературную и культурную эмпирию унаследованный от романтизма принцип свободного творчества, который, парафразируя слова Н. Берковского, разлагает вещи и обнажает жизнь (Berkovskij 1976, 22). Результатом такой на первый взгляд противоречивой интеграции является

не отрицание предшествующей тематической и поэтологической эмпирии в творчестве Пушкина, а ее динамизация, качественный сдвиг, который позволил поэту добиться новых вех в художественном изображении мира и человека.

ЛИТЕРАТУРА:

- Аринштейн Леонид: *Пушкин. Непричесанная биография*. Москва 2007.
- Berkovskij Naum: *Něteská romantika*. Praha 1976.
- Благой Дмитрий: *Стихотворения Пушкина*, в: Пушкин Александр: *Собрание сочинений в 10 тт.* Москва 1974, т. 1, с. 615-641.
- Котляревский Нестор: *Мировая скорбь в конце XVIII и начале XIX века: ее основные этические и социальные мотивы и их отражение в художественном творчестве*, изд. 4-е. Москва 2012.
- Лотман Юрий: *Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя*. Ленинград 1983.
- Лотман Юрий: *Вокруг десятой главы „Евгения Онегина“*, в: *Пушкин. Исследования*, т. XII. Ленинград 1986.
- Пушкин Александр: *Полное собрание сочинений в 6 тт.*, т. 6, *Письма 1815-1837*. Москва 1938.
- Пушкин Александр: *Собрание сочинений в 10 тт.* Москва 1974.
- Terras Victor: *Pushkin and Romanticism*, in: Andrej Kodjak - Krystyna Pomorska - Kiril Taranovsky (eds.): *Alexander Pushkin. Symposium II*. Columbus - Ohio 1980, p. 49-59.